

Полина Дроздова

Glioma



Полина Викторовна Дроздова

Glioma

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28527000

SelfPub; 2017

Аннотация

Когда мурашки – шестой орган чувств, и смотреть в его сторону страшнее, чем смерти в лицо. Его зовут Бэкхен, и его глаза – чёрные. Содержит нецензурную брань.

Я не считаю дружбу священством человеческих отношений и лучшим проявлением любви – она для меня, скорей, способ разобраться в окружающем мире. Ведь все мы строимся на фундаменте из других. И не вижу смысла опутывать себя нитями привязанностей, такими же, как на деревяшках бездушного кукловода, чтобы потом их резко оборвали – вместе с конечностями.

Я не стремлюсь к этому.

Хотя друзья у меня есть, целая компания.

Вот, Сэхун например – самый мажорный, то есть самый отвратный, родившийся в изорванных джинсах и с узлами лапши на руках для чужих ушей. В нём слишком много того самого «стиля», которым больна современная молодёжь; он звенит связью металла в ушах и закатывает глаза на концах предложений.

Сэхун зато здорово нас всех организует – его квартира всегда пригодна для наших встреч, которые редко случаются где-то кроме ближайших кафе, наших домов и их подворотней. Этот Сэхун, этот клей – кто знает, считались бы мы одной командой целых два года или растеклись бы потоками без него. Впрочем, так может внезапно оказаться любым утром, любым паршивым днём.

Есть еще Чондэ, и подсознательная симпатия на него у меня выделяется в большем количестве, это весьма сложно объяснить. Он тактичный, как принято говорить, редко кричит и критикует, а больше слушает: можно даже решить, что

это тихий сплетник, маленький уж среди кобр, но Чондэ не таков. В нём так много простого, что даже порой страшно подумать, почему он ошивается с нами, это явно не его круга/уровень. Мне так хочется иной раз ему объяснить на пальцах, спустив одну руку до колена, а вторую подняв над головой.

Но Чондэ только смеется. Смеется так, как не смеется никто. И вот, например, у Сэхуна глаза голубые – пусть и от линз – холодные, даже, возможно, пустые и вовсе не добавляют ему красоты, а у Чондэ они карие, теплые-теплые, и под ними – как под рентгеном.

– Эй, Чен, – вот так вот зовёт его Сэхун и это рождает в моей голове любопытство, сколько салфетных комков вмещает человеческий рот.

Мне не нравится это прозвище, оно резкое, острое, слишком топорное, и схожее с кратким моим; я его не использую и, может, поэтому Чондэ всегда при приветствии мне кивает, будто в знак вежливости, уважения. Опять же – совсем для нас и то, и другое, не приемлемо. Думаю, такие *хорошие* отношения у нас с ним близки к взаимности, и всё же моё ампула по-прежнему колышется справа, вот здесь, у колена.

Повода нет, но мы снова какого-то черта сидим в душевной комнате на голом полу, разбрасывая между коленями заляпаные пятнами карты. Я стараюсь не угодить локтём в пепельницу, попутно высматривая за окном показатели градусника. Всегда было странным играть в мафию вчетвером, так

же интрига горит буквально два-три хода. Ну ладно. Мы и так тут все дураки и пьяницы.

Сэхун тасует колоду умело и быстро тонкими пальцами (чего не отнять, того не отнять), а я хочу бессмысленно спросить, можно ли так, чтобы город заснул и не проснулся. Бутылка соджу кочует у нас по рукам, а добрее и улыбчивее мы не становимся; это не странно. Вот так, пожалуй, нас сложно назвать друзьями, если вникнуть в суть – мы лишь с виду на низком старте перед защитой друг друга грудями.

Вообще, это просто неанонимный клуб одиночек, нашедших тех, с кем более-менее не тошно, и можно проводить вместе время, заполнять свободные часы, у нормальных людей отведенные для *близких*. У нас нет таковых, у нас только мы – разбавляем грязь у друг друга в душах, подмешиваем в неё болтовню и спирт.

Я сказал – вчетвером, и совсем не ошибся. Как всегда к нам опаздывает еще одна персона, и её приближение я чувствую по мурашкам на холодной спине. В коридоре звенит замок и мои пальцы душат пиковую черную даму; он всё же пришел. Но мы к этому еще вернемся.

Есть такое понятие – «дом», и я не знаю, какое место, состояние или время могу им называть, потому что каждый раз возвращаюсь в двухкомнатную квартиру, в которой всегда слишком мало света, чрезмерно много запаха из подвала и половой сырости. В ней между тусклых стен всегда где-то прячется мама, отрешено сидящая на самом краю кровати

или согнувшаяся на корточках в углу, прикрывая глаза руками.

Она может что-то шептать, неразборчиво и захлебываясь, с этим можно справиться обычным разговором, парой белых колёс и ладонью на черной макушке.

А может молчать глубоко и долго, и с этим сложнее – тут до самого вечера придётся сидеть у неё в ногах, чтобы пришла в себя.

Мама говорит, что она сумасшедшая, только очень грубыми словами, очень смешливым, шуточным тоном, за которым такое отчаяние и «прости», что мне приходится её переубеждать. Хотя... Правду можно отчеканить болью и резью, можно сделать усмешкой, можно ею промолчать – она не изменится.

– Меня заберут и отправят сажать репу, – смеется мама, помешивая слишком тугое тесто для рисовых пирожков, – или посадят в коляску, вывезут на какой-нибудь балкон, там и забудут. Точно тебе говорю, Чанель, мальчик мой. Недолго мне тебя мучить.

Я даже не знаю, устал ли от таких разговоров, но эффекта мгновенных слёз они больше не вызывают; слишком часто мне приходилось умолять её так не говорить, что теперь слова скатываются в миску с мукой и приминаются ложкой. Я чувствовал их вкус за вечерним чаем, когда мама безжизненно глядела в окно и свет серого неба, казалось, слился с её лицом.

В такие моменты я думаю, что надо бы её запомнить.

Запомнить такой, пока не случилось чего-то ещё. Отклонения в психике у мамы наблюдаются давно, с год, они возникают периодически в форме полного беспамятства и неконтролируемых действий, которые сложно предотвратить. Пока это не стало причиной списать её со счетов и идти упаковывать синюю зубную щетку, но и улучшений не наблюдается.

Отец заслуживает лавровой ветки за лучший вид «у нас по-прежнему всё хорошо», который играет всё это время, когда бывает с нами. У него удаленная работа в постоянных командировках, и нет, я не добавляю этого в стакан моей тоски. На самом деле, я вообще по нему не скучаю. Почему? Ответ прост.

Я не люблю отца.

Нет, он не чешет об меня кулаки и не изменяет матери с бутылкой или другими, принимает мою политику и идеи, по большей части старается не лезть в личную жизнь, нет, он не составлял в семье новую Конституцию, всегда мне всё разрешал и старался приносить радости, то в кармане, то в улыбке или объятиях, нет, он просто замечательный.

Но я его не люблю.

Это не априори, что родители обязаны быть для нас вторым и третьим Иисусами, которых любишь со всеми грехами до их кончины и после неё – я очень долго считал именно так и корчился в ломках от этого осознания, мерил себя

всеми заповедями, пророчил всю Преисподню.

Потом же я действительно устал.

И решил, что не иссякнувшего уважения к отцу мне достаточно. Дело-то тут в чём: мне сложно его принять теперь, будучи не ребёнком, когда ловишь глазом каждый жест, слышишь каждое слово, и восприятие этого исходит уже полностью от тебя самого.

И всё в нём – всё это – мне настолько не нравится. Его привычки, его взгляды на вещи, его общение с другими, позиция, выбор пути – совершенно не нравится, не могу, не хочу это поддерживать лишь из звания «сын». Печали, скучания по папе во мне отсутствуют, и может, мне это когда-нибудь вернётся хлестким уроком. Но не сейчас.

– Чанель, обед! – кричит мне обычно из кухни мамины нотки волнения.

Знаю я – там что-то вроде жирных клёцок, накаченных протеином в лошадиных дозах. Ещё одно её беспокойство без почвы. Мама молится на мои выпирающие позвонки и трясущимися пальцами жмёт мои худые плечи.

– Это даже некрасиво, – говорит она, – а что, если это уже болезнь?

Я успокаиваю её всеми известными мне словами и тонами голоса, от ласкового до грубого, смиряю её паранойю на некоторое время, а потом – снова. Она так часто смотрит на меня взглядом матерей неизлечимо больных, это одновременно вызывает и отчаяние, и раздражение. Я прошу её ру-

гаться на мой неприхотливый желудок и обвинять свой обмен веществ за такую худобу, а меня оставить в покое.

Нет, я не болен.

По крайней мере, не здесь.

У подножья рабочего стола валяется школьная сумка как портящая весь вид блямба, которую ничем не вывести, не стереть – ненавижу возвращаться мыслями к занятиям, еще больше – на них ходить. Обучение мне не в тягость, но удовольствия от него не исходит так же, что постепенно перевесило моё отношение в сторону минуса.

Меня часто хвалят учителя за неплохую успеваемость и цокают языками точь-в-точь копытами, когда отрекаюсь на иную деятельность помимо уроков. Ни олимпиады, ни роли в концертах мне не нужны, я актёр погорелого театра и мне не идут медали. Это не лень говорит, это просто характер такой.

Я единственный отличник в слабом классе; как в него перешёл, так мне сразу начали нашептывать про профильные, только бес толку. Я так и остался в своём, небольшом и недружном. Мои одноклассники из рода «твое болото – значит, тони», и я даже не старался образовать с ними вторую семью.

И в этом ничего драматичного, так даже удобней – весь расчет на себя, и никаких неловкостей в случае ссор или стычек. Знаю, мы даже наверняка не пойдем отмечать выпуск-

ной следующего года, а попросту выстроимся в колонку за аттестатами. Жду не дождусь.

И меня волнуют не отношения даже, а своё положение в школе. К концу этого года от него немного откололось, когда я вступил в кабинет директора. Там сидела и завуч, и он сам, и разговор вновь пошёл о переходе в следующий, последний класс. На меня смотрели две пары глаз так непонятно и скептически, что я даже опешил.

– Пак Чанель, ты идёшь по наименьшему сопротивлению, – горделиво мне сунула слова под нос директриса, защелкав ручкой, будто знает, бестия, моё отношение к подобным вещам.

Я сглотнул раза два и спросил, могу ли идти, а в ответ мне покачали головой, и выглядело это как-то тяжело, грузно. Настроение так испортилось, что я даже не ожидал. Проблема выбора в будущем – первостепенная для меня, я на неё ничего не клал.

Не знаю, кем хочу быть. И руки вроде растут из плеч, объем мозга – стандарт, 1200, капля самоуважения и слабой веры где-то внутри растворены, а кем хочу быть – не знаю. И парня это действительно может мучить.

Вернулся домой я в тот день обескураженный и словно побитый, учитывая, сколько всего мне еще наговорили те двое.

«К такому возрасту вы должны были определиться».

«Хотя бы примерно расставить приоритеты».

«Знать, в какое поступить заведение».

«Вы ближе к гуманитарии?»

Я ближе к гуманной неопределенности. Рассказав это всё знакомой из параллели на первом послевкусии в холле школы, принял от неё успокаивающий ответ:

– Некоторые, уже пожимая руку смерти, не знают, кто они и для чего, а учителя требуют этого от ребёнка.

Мне хорошо запомнились эти слова. Да, у меня ещё есть время перед выбором, что я буду ненавидеть до конца жизни, альтернативно получая за это деньги, [но]

Когда тебе говорят, что еще немного – и ты не будешь стоить больше картонной коробки, это угнетает. Впрочем, я перекладываю всю ситуацию в руки времени и отдаю ему руль.

После этого, пусть и каникулы, смотреть на сумку эту противно, а считать даты месяца неохота, хотя уходить далеко от реальности не люблю.

Интересное чувство.

Словно безвыходность облепила тебя со всех сторон.

Я возвращаюсь в нашу тусклую комнату, в которую входит еще один человек. Самый старший из нас, самый странный, для меня – весомый. От него мерещится иней на окнах, и птицы за ними смолкают. Если существует у людей общая атмосфера, то это была её ледяная мгла. А я предательски сижу к двери спиной и слишком остро чувствую каждый неслышный шаг.

Его зовут Бэкхен, и глаза у него – черные.

Из таких, в которые невозможно смотреть.

В нём единственном из всех нас мрачного больше, чем во мне, пепел во взгляде глубже, а слова – болезненней. Не помню, как так вышло, что он среди нас, это будто скольжение тени, фантома, который раз – и возник, а всех поглотила чума.

А болен смертельно, похоже, только я.

Это было очень сильное впечатление.

Почему?.. Это можно только понять, проведя с ним время и вытерпев его.

Бэкхен ко всем так же предельно безразличен, но при этом к нему все тянутся, замороженные и подвластные его обаянием. Когда у кого-то проблемы и слишком явные, требующие помощи, со стороны Бэкхена она приходит совсем нетипичным образом.

Сэхун раз был в скулящем отчаянии от того, что его (!) бросила очередная девочка, и он делился этим в нашем кругу. О, где-то точно вспыхнул пожар, когда на лице Бэкхена появился зловещий оскал.

– Что её в тебе не устроило? – спросил он Сэхуна.

Тот нахмурился.

– А кто сказал, что я виноват? Это в ней были проблемы.

– Они все так говорят, – перебил его Бэкхен, – но девушки *никогда* не бросают парней из-за своих недостатков, потому что им и нужен тот, кто их примет, а менять в себе что-то – они слишком заполнены эгоизмом, да и что там останется,

если начать чистить женскую душу? Проблема в тебе, причем она никогда в том не признается, ведь образ идеала уже пылится осколками, его не собрать, а склеишь – уже не то. Так что тебе придется просто её отпустить с богом и своим списком условий, и искать ту, у которой он меньше, и по которому ты подходишь.

Скажем прямо – Сэхун больше ни разу не рассказывал нам о своих неудачах в плане любви или что там у него лежит за основу отношений с девушками.

Бэххен не упустит шанса кому-то разбить хрустальные замки принципов и устоев, сдуть карточный домик чьих-то заповедей и моралей. Мне было тяжело смотреть, как он напирал на Чондэ, наклонившись к тому всем корпусом и говоря тому об отце (у Чондэ это – его болячка):

– А чего ты от него ожидаешь? Пожелания удачи и хорошего свободного плавания? Да никогда родители до конца не разожмут тиски своих челюстей, не позволят выбросить свои поводки поводырей, пусть даже мы давно не слепые. Они могут говорить, что перед нами открыты все дороги и они одобряют любую, но вплоть до твоего финиша будут вторить, что нужно переходить на зеленый свет. И твой отец тоже. Чондэ, ты для него – не другая, не отдельная жизнь, а придаток к собственной, которую нужно сделать в разы лучше, в разы правильной, и отступы от своего плана ему не нужны, он же хочет, чтобы этот раз был удачным. Ты его второй шанс, которым он надеется оправдаться в старости: вот, взгляните,

я прекрасный человек, ведь мой сын – это я, сумевший закончить свой путь достойно. И ты должен либо с этим смириться, что вероятнее, ведь тут у тебя, – парень похлопал по левой груди Чондэ, – мягче президентской подушки; либо оторвать этот сорняк от себя, начав расти своим способом, живя своей сущностью.

Я смотрел на это, подпирая стену в коридоре и смотрел, как следовало, не на Чондэ, уменьшающегося в кресле на глазах, словно съевшая печенье Алиса, а на Бэксена, только на него: сложно было тогда уловить жизнь в чём-то кроме.

Я понял, что им можно захлебнуться, если не привыкнуть и так вот глотнуть. Мы кое-как привыкли. А его отношение... очень странное. Зачем мы ему – далекие от интересных и уж точно не близкие к хорошим, что он с нами общается, но я стараюсь в это не вникать. Потому что... страшно. Представляется погружение в прорубь, который мгновенно заледенеет.

У Бэксена раздроблена лопатка и в сердце встроены клапаны, иначе как объяснить его периодическое замыкание на пороге бурных чувств – он порой из всплеска эмоций выходит сухим и вялым, совсем ничего не поймешь. За такие фокусы на него многие рычат, но это как шавке тявкать в сторону волка – Бэксену бесполезно высказывать недовольства, в итоге сам окажешься виноват и оплеван.

Мне сложно совладать с собой рядом с ним, а с ним и

подавно – у нас обоюдная готовность друг друга растерзать или просто обменяться ухмылками. Как сейчас помню: кухня Сэхуна, под глазами – голубая скатерть стола и одинокая вилка, а я, с чего-то вспыхив, спрашиваю у Бэкхена:

– Почему ты такой... злой? – да уж, в нужный момент нашел словечко.

Парень, стоя у плиты и вертя в руках яблоко, поднял на меня глаза и оскалился (улыбаться он не умеет).

– С ножа часто ем, – ответил он и сунул мне в распахнутый рот желтую дольку.

Наверное, именно в тот момент я понял, что Бён Бэкхен – моя опухоль мозга.

Только у Чондэ бывают перемычки в плане настроения и идеи, достойные определения «праведные», к которым он нас иногда приплетает – это всё добровольно, конечно. Я ему никогда не отказываю, потому что не прихотлив.

В этот раз мы идём в место с самым отвратительным и кошмарным запахом – больницу, где белого столько, что возникает желание рисовать. Чондэ решил сдать кровь на донорство, к тому же, у него она редкая – четвертая, по резусу положительная (я даже не удивлён), а моя самая простая и примитивная, но я тоже принимаю участие.

С нами в компании пошёл еще только Бэкхен, у Сэхуна боязнь врачей и вида пипеток, а Бён сказал, что хочет пожонглировать пакетами с кровью. Он сидел в коридоре и только их и высматривал.

Пока я еще не зашёл в палату, провожаю взглядом проезжающие каталки. Ловлю себя на мысли, что мог бы стать врачом, смотря, как уверенно и целеустремленно медсестра вводит шприц толщиной в китайскую палочку лежащему мужчине в шею; думаю, я бы тоже так смог.

Мурашки подсказывают, что Бэкхен наблюдает за моим взглядом и ухмыляется; я не реагирую.

Особенность больниц в том, что настроение в них и состояние может быть разным: как и паника, заметающая тебя на стены и сгущающая ослепительно-белый в полную темноту в глазах, так и тянущее нервы ожидание, так и смирение холоднее могильных плит. Никогда не знаешь, какое ярче всего на тебе отпечатается. Я в больнице лежал только в детстве, с аритмией, совсем малышом, и тогда уже невзлюбил кисели и каши; мама в шутку называла моё сердечко скоростным барабаном.

Но я помню не это: для меня больница навсегда, наверное, останется тусклым местом, в котором слух максимально настроен на разговоры за стенами, где ты ждешь, будто за судебными решетками, а на казнь поведут не тебя. Я часами ожидал так на скрипучей лавочке маму, которую принимал психиатр с некрасивой фамилией; он заводил её в кабинет, крепко держа за руку, словно она не могла идти – меня это всегда раздражало.

Мы посещаем его раз в три месяца, и ближайший приём через пару недель. Тот центр, в который мы ходим, изнутри

темно-зеленый, так что здесь мне намного комфортней. Я смотрю на людей – у них просто что-то внутри болит, это выведут, удалят или заклеят, и всё. Куда хуже, когда на тебе ни царапины, но ты всё равно ходишь к врачам годами, и значит, что ты – больной.

Сворачиваю мысли о маме и поворачиваюсь – Бэкхен внимательно рассматривает в руке пакет с кровью и говорит, будто и не мне:

– Удивительное место, правда? Только здесь столь большое скопление одновременно ненависти, боли, страха и любви.

– Где же здесь ненависть? – спрашиваю я его, подтягивая под себя ноги, чтобы проехала капельница.

– Взгляни на очереди, – говорит Бэкхен, кивая в сторону заполненного крыла, – там люди друг друга ненавидят, они все хотят вперед, хотят помощи для себя, лишь для себя, побыстрее, возносят в значимость только свои проблемы; это очередное доказательство нашего природного эгоизма.

Я с ним как всегда соглашаюсь молчанием и прошу вернуть пакет туда, откуда взял.

– Тебе она ни к чему, – говорю я парню, – сам выкачаешь из других столько, сколько захочешь.

Бэкхен глухо смеется и пихает меня в плечо, показывая, что вышла девушка в халате и готова меня принять.

Я его с собой не зову, и можно ли это вообще – не знаю, но Бэкхен заходит со мной и даже сидит рядом, провожая

глазами темную струйку вверх по трубке.

– Вы – его брат? – спрашивает нас медсестра и прежде, чем он успеет открыть свой рот, я ей отвечаю:

– Да, сдаю кровь для него, а то взгляните,, – я поворачиваюсь к Бэкхену, – совсем безжизненно выглядит.

– Вы очень похожи, – удовлетворенная ответом, улыбается девушка, и Бэкхен подмечает:

– И, знаете, не только внешне.

Она уходит, и мне хочется вместе с ней, или попросить вывести его отсюда; чтобы не видеть, попросту закрываю глаза и воображаю, чем меня накормят после сдачи. Лишь бы не завтраком из столовой.

Когда мы уже собирались уходить, Бэкхен на минуту притормозил у каталки с закрытым телом – я его не одергивал, совершенно не ожидая, что он соберется делать, но, если честно, даже не удивился: парень отбросил простыню, безучастно посмотрел на лежащего мужчину и закрыл его глаза – этого почему-то еще не сделали.

– Ты ведь не веришь в приметы, – подмечает Чондэ, когда мы продолжаем путь по белому тоннелю.

– Просто когда смотришь в глаза мертвеца, они словно спрашивают: «по-прежнему веришь в бессмертие»?

Уже на улице не без помощи свежего воздуха и с расслабленными плечами, пока Чондэ высматривает на дороге приближение электрички, я говорю Бэкхену:

– Ты же и сам знаешь, что не вечен. И я знаю. Никакого

бессмертия.

Тот глядит на меня своими черными глазами, и мне снова становится плохо.

– В теории – да, – отвечает Бэкхен, – рассудком мы это осознаем, но разумом... Невозможно представить, что однажды не будет *ничего*, даже мысли в голове. В ней мы навеки вечные.

– Может, и не нужно представлять? – спрашиваю я его, обычно не встающий на оптимистичные стороны. – Нет никакого смысла моделировать чувство полного исчезновения.

Бэкхен вздыхает, и наш подсознательный контакт разрывает оклик Чондэ с остановки; он ступает на первую ступень вниз и говорит мне уже за своим плечом:

– Я просто хотел убедиться, что там старый человек.

По дороге домой я упорно пытаюсь расслышать рэп-партию Вунга Ли в наушниках, но мешает неистовый рёв машин за мутным стеклом и сами пассажиры. На первых местах, кажется, у кого-то астма, а сзади рыдает женщина с букетом подсолнухов.

Пожалуй, мама опять начнёт паниковать и всхлипывать, у неё покраснеют глаза, когда я приду и скажу, что не голоден – даже если объясню про больницу, она всё равно расстроится.

В эту ночь, часа в три, как раз, когда я ложусь спать, за стеной орёт ребенок, и мне хочется с ним – в унисон. Эти соседи вернулись не так давно из какой-то поездки, и их чадо вопит каждый день. Подозреваю, они тоже думают, что он

больной.

Бэкхен ведет меня с собой по торговым центрам в самый жаркий недельный день, а на нас обоих для полного траура не хватает лишь черных мантий. Не уговариваю его на мороженое, но бутылку воды покупаю.

Он заводит меня в магазин восточной культуры и идёт напрямик к месту с холодным оружием; здесь в открытых коробках лежат кинжалы, поблескивают ножи и статно стоят катаны. Я смотрю, как тени лезвий играют у Бэкхена на щеках и спрашиваю:

– Чем они так тебя влекут?

Парень отставляет подальше табличку с надписью «не прикасаться», чтобы получше прощупать рукоятку небольшого танто.

– Они же такие прекрасные. Холодное оружие – не последнее по важности звено в сплетении истории. Люди верили в его внутреннюю силу, связывали с ним душу, отдавали за него жизни и защищали их с его помощью. Разве в каждой вещи можно найти столько величия?

Я поднимаю сверкающий серебром айкути и подставляю Бэкхену к горлу, который не меняется в лице, лишь пару раз взмахивает ресницами.

– А сейчас ты тоже бессмертен? – спрашиваю его, усмехаясь, и чувствую, как под лезвием натягивается тонкая кожа. Внутри полосует.

– Каково это ощущение, – произносит он, знающий, что

я почувствовал, – власти, жизни под своими пальцами? Его, наверное, и вкушают убийцы в своих грехах. Нравится?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.